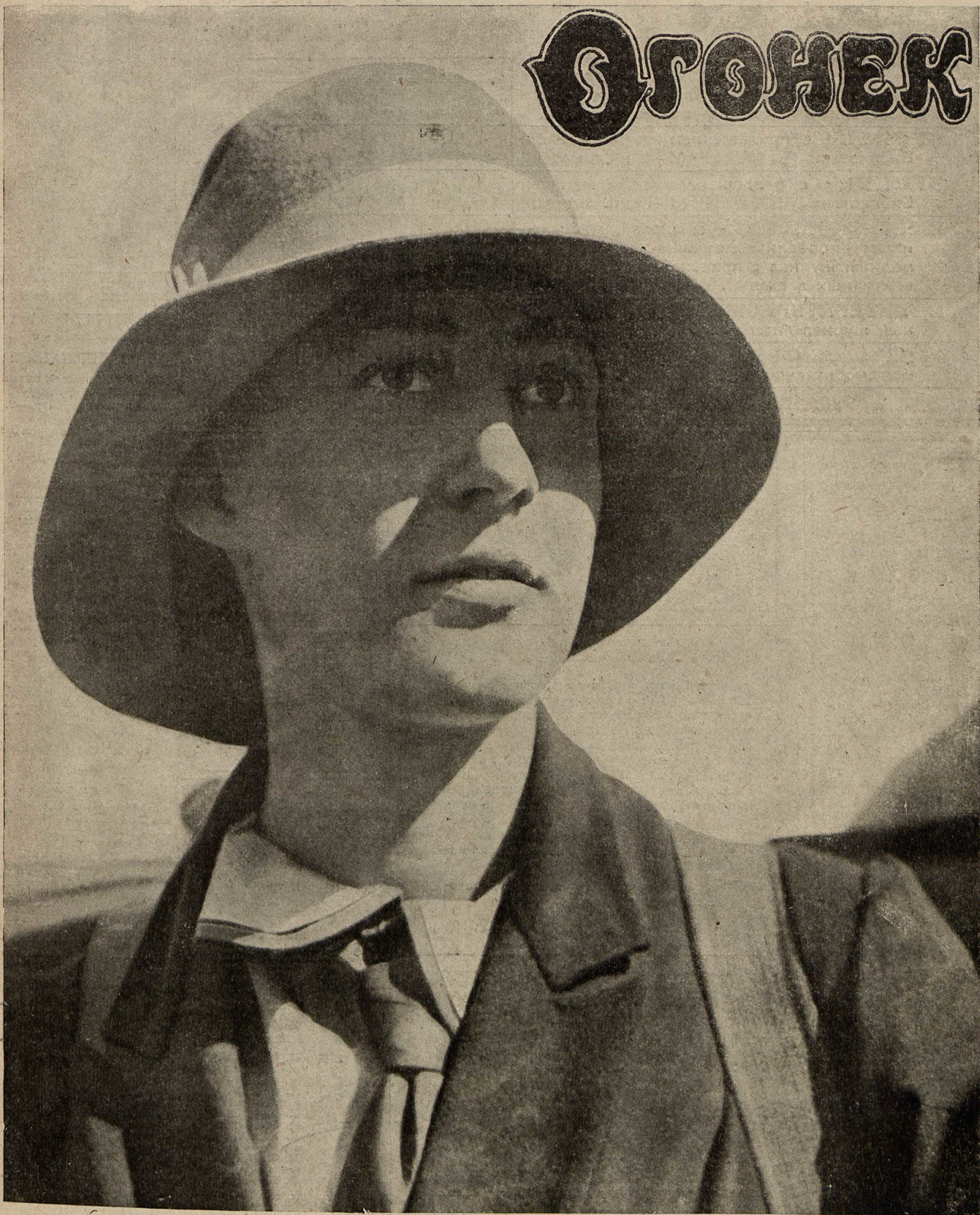


# ОГОНЕК



## АМЕРИКАНСКИЕ СТУДЕНТЫ В МОСКВЕ.

В Москву прибыла первая американская студенческая делегация в составе 9 человек. Студентов, желающих ехать в СССР, было более 100 человек, однако, большинство из них должно было отказаться из-за отсутствия средств. Прибывшие студенты приехали на деньги, заработанные уроками.

На снимке—председатель делегации Елизавета Ван Алстин.

— Я уполномочена, — заявила она редакции «Огонька», — передать горячий привет советскому студенчеству от студентов С.-А. Соединенных Штатов.

Фот. С. Фридлянда.

# ЗАБРОШЕННЫЙ ХУТОР

Рассказ Артема Веселого.

1.

Отставший от своей партии студент-практикант Миша Панкратов выехал из Дядьковской волости чуть свет, намереваясь к вечеру добраться до совхоза *Пробуждение*, до которого, по расчетам подводчика-киргиза Емекея, было верст тридцать.

Косматая, степная лошадевка бежала ровной рысцой и тяжелым хвостом неутомимо хмыстала себя по запотевшим бокам, отгоняя сладко-гудевших мух. Накатанная проселочная дорога расстилась по широкой луговине, забросанной светлыми озерами, кустарником и жирными болотными цветами. Тарантас потряхивало, нагоняя дремоту и на старого Емекея, и на его седока.

Емекей умел хорошо говорить по-русски, чем очень гордился, а его черное, обветренное степными ветрами лицо было изношено и походило на стоптанное конское копыто. Чтоб не заснуть, он пел себе под нос песни, покрикивал на лошадевку или шутил.

— Чу!—говорил он, прислушиваясь к птичьему стрекоту,—жаворонки поют: «Мужики в поле, мужики в поле, а бабы дома сидят, яшницу едят»,—и смеялся залихватским, дребезжащим смехом.

Смеялся и молодой студент, хорошо зная, что поют это не жаворонки, а трясоговки, перепелки, дергуны и всякая луговая птица.

Потом опять дремота покрывала его своим сизым крылом, веки тяжелели, голова моталась, как неживая, текли лутаные мысли о далекой Москве, о несданных зачетах, о товарищах, с которыми ночью вечером должен увидиться...

Солнце сияло высоко, и день был в полном разгаре, когда, миновав луговину, вехали в темный дремучий лес. Слепни и мухи отстали, повеяло прохладой. Емекей беспокойно завозился на местечке и тревожно сказал:

— Ну, брат, больше половины проехали, только вот, шуг ее деря...

— А что?—спросил Миша.

— Да придется нам переезжать один еричек и непременно сломаем мы тут колесо или ось.

— Миновать надо тот ерик.

— Тут дорога одна, и того ерика не минуешь... У нас тут кто бы ни ехал, а непременно ось или колесо сломают: место уж больно неудобно,—и старик поскреб в затылке.

И действительно, доехав до грязного ерика, они убедились, что его невозможно ни обойти, ни объехать: с одной стороны, сплошной стеной стояла лесная чаща, с другой—лежало прозеленевшее, ржавое болото.

Негодя на деревенскую темноту и некультурность, студент слез с тарантаса и, по пояс вывозившись в холодной грязи, кое-как перебрался через ерик, а Емекей, нохав и тоже кого-то поругав, в озлоблении хлестнул вожжой управившуюся лошадевку, и она смело ринулась вперед. На самой ямине правое заднее колесо, которое всю дорогу жалобно скрипело, хрюнув рассыпалось по спице. Подхватывая под тяжки, они вдвоем кое-как вытащили тарантас на сухое место и стали друг против друга, с неприятно глядя друг другу в глаза.

— Вот,—с значительным видом сказал старик, выливая воду из сапога,—я говорил...

— А какого же чорта мост не настелите, коли тут ездите всегда? Кругом столько леса, а тут ведь и надо-то всего десяток слег.

— Пускай мостит, кому надо! я тут проехал и, может, еще десять лет не поеду.

— Чего же будем делать?

— Теперь покукуем,—горчично сказал старик и стал набивать вонючую трубку.

Поурчал далекий гром, и скоро хлынул проливной летний дождь.

Пока прилаживали, вместо сломанного колеса, вязовую лесину, стало смеркаться.

Пустив лошадь вперед, они попледали за покалеченным тарантасом, мокрые и озябшие.

— Где же заочуем?—спросил Миша, не попадая зуб на зуб,—уже поздно, и до совхоза нам ночью не добраться.

— Тут недалече есть хуторок небольшой,—ответил Емекей.—Колы смилуются над нами добрые люди, то и ночевать пустят.

И, как бы в подтверждение его слов, в стороне от дороги сквозил лесную чащу сверкнул робкий огонек и свирепо, на разные голоса, залаяли собаки.

Немного погодя Емекей сидел на кухне и хлебал теплые, оставшиеся от обеда говяжьи щи, а умытый и наряженный в гусарские штаны Миша в просторной, чистой горнице танцевал с хозяйской дочерью-именинницей, до-нельзя расфуфыренной по случаю торжества.

2.

Накрытый вязаной праздничной скатертью широкий стол был заставлен печеньями, соленьями и вареньями домашнего изготовления. Закуски на тарелках были разложены клетками, треугольниками, звездочками. В граненных графинах всеми цветами искрились настойки, наливки и горькая, настоянная апельсиновыми корками. Хорошо прожаренный сочный поросенок затейливо держал во рту пучок зелени. Начищенный до жару самовар сиял довольством и пускал пар под самый потолок.

За столом с достоинством восседали званые гости: рыжий фельдшер с беременной женой, величественный, как статуя, дьякон соседнего села Дубовки со чадами, франтоватый в щегольском френче лесничий из бывших семинаристов, хуторская молодежь и какие-то древние старички и старушки.

Но центром внимания и всеобщего восхищения была именинница—разрумянившаяся Галечка или Алечка,—Миша не мог хорошо расслышать и удержать в памяти ее имя.

— Живем мы в глуши, от всякой культуры в отдалении,—повествовала хозяйка двдвушка Настасья Васильевна, обращаясь через стол к Мише.—Был и у меня сынок Петенька, в ваших вот годах, и лицом схож, тоже студент, да не довелось сердечному и доучиться, на войну забрали и убили где-то в несчастной Галиции...—Она вздохнула, с нежностью задержала взгляд на Мише и продолжала:

— Кушайте, молодой человек, не стесняйтесь, у нас запросто... Теперь вот осталась одна моя отрадушка,—две дочушки, Галечка и Алечка.

— Ах, маман, оставьте, кому это интересно, вы совсем уморите гостей!—враз вскрикнули дочери.

Но мать с гордостью посмотрела на них и пододвинула Мише тарелку с маринованными рыжиками: «Кушайте, молодой человек, набирайтесь силой на дорогу, а то она, чужая-то сторона, мачиха».

Миша тоже метнул взгляд на молодых хозяек и вместе с куском сладкой телятины проглотнул вздох.

Именинница была из красавиц красавица: и кругла-то она, и пышна-то она, и молочный румянец у ней во всю щеку,—в наше время такую красоту в городе уже и найти нельзя. А другая дочь была уро-

дина: конопатая, большеротая, косоплечая, а сплуну показалось ему, что и нос-то у нее сворочен на сторону.

— Выпьем за науку и за свет разума, извиняюсь, не знаю, как вас по имени и отчеству,—чокнулся с Мишей лесничий;—места наши глухие, народ у нас дикий, его еще пороть бы триста лет надо, прежде чем свободу давать, однако, приятно встретиться с образованным человеком.—Лесничий единым дыхом хватил стаканчик настойки и закурил грибом.—Я сам погибаю в этих, извините, чортовых болотах.

Потом опять танцевали, играли в преглупейшие игры—фанты, ягуты, в угадашки,—неистовствовал балалаечный оркестр, зело подвыпивший дьякон от великого усердия пообрылвал на гитаре все струны, а разыгравшийся фельдшер выдалил стекло в посудном шкафу.

Старики, глядя на резвящуюся молодежь, вспоминали свои лучшие дни и вели степенные разговоры о делах хозяйственных или сплетничали.

Разогревшиеся парочки выбегали проветриться во темен сад и там, по вековому провинциальному обычаю, изливались в нежных чувствах и звонко целовались, смеялись. Вообще, веселье било ключом.

Именинница приглянулась заезжему гостю с первого взгляда. Хотя в городах и пошла мода на девиц, которых будто и спереди, и сзади лопатой ударили, но Миша в этом вопросе был отчаянным романтиком и в своих симпатиях придерживался старых форм. Как бы там ни было, а после пятой рюмки он окончательно утвердился в мысли, что влюблен в именинницу.

Он протанцевал с ней весь вечер, забавлял диковинными рассказами о Москве, потом уговорил выйти в сад.

В саду по узким аллеям они долго гуляли под ручку. Она жаловалась на скуку, на отсутствие настоящего общества.

— Ах, Мишенька, вы счастливый,—плачущим голосом говорила она.—Живете в столице, врацаетесь в обществе интеллигентных людей, а у нас тут скука, интеллигентного человека встретить невозможно, книг нет; я, прямо, с тоски умираю, с самой зимы не имею под руками ничего, кроме уже читанных и перечитанных романов Боборыкина.

— Ну, не скажите,—наклонился к ней протрезвевший Миша, заглядывая в сияющие глаза.—Города, это—гнезда сумасшедших и больных людей. Все вечно торопятся, сталкивают друг друга с лестницы жизни, хватают друг друга за горло, а у вас здесь природа, тишина...

— Ах, оставьте, Мишенька. Осточертела мне эта тишина. Так и вся молодость болотной травой порастет... Представьте, я даже в уездном городишке два года назад была, да и то всего одну недельку.

Мише стало жалко ее, захотелось обясниться ей в своих чувствах и завтра же увезти ее из этого логова. Но от природы он был человек робкий и нерешительный, и тихим голосом сказал:

— Книжек я вам буду присылать...

— Вот спасибо-то скажу, если не обманете... Однако, свежо, пойдемте в дом.

Миша был в восторге от именинницы. Он нежно поцеловал ее в духлую руку и повел в освещенный, гремевший песнями дом.

Торжество затянулось далеко за полночь. Занялся рассвет и прославили третьи петухи, когда гости стали разезжаться.

Настасья Васильевна до конца осталась любезной. Как родного сына, она уложила Мишу спать на чистую постель, а утром напоила чаем с теплыми сливками и, пожертвовав под тарантас старое

колесико, проводила их вместе с Емекем в путь дорогу.

На прощанье Миша с удовольствием поцеловал руку вчерашней именинницы и еще раз обещал присылать книжечку и писать. Затем он из вежливости поцеловал руку и ее сестры, которая при свете дня показалась ему еще безобразнее.

3.

Проработав с партией практикантов еще два месяца, Миша Панкратов возвратился в Москву.

Мысль о вазнобе ни на один день и ни на один час не покидала его. Куда бы он ни шел, что бы ни делал, ее образ неотступно витал над его сердцем. Тот заветный вечерок, в глухом хуторе он вспоминал множество раз в мельчайших подробностях.

Он послал обещанные книги, ласковое письмо. Через пару недель Галечка ответила ему. Она искренне восхищалась его добротой, благодарила за подарок и, между прочим, сообщила, что сестрица ее Алечка вышла замуж за лесничего. Миша не обратил на это никакого внимания и только подумал: «Ну, и дурак же лесничий».

Меж ними завязалась дружеская переписка и в конце концов, не в силах переносить любовную муку, он объяснился Галечке в любви, насажав в письмо с полсотни восклицательных знаков.

Галечка ответила, что она и сама к нему уже давно, с первой встречи, весьма равнодушна, не прочь переехать в Москву и пожениться, если на то последует разрешение матушки. А матушка, со своей стороны рассыпавшись в любезностях и будучи твердо уверена в серьезных и честных намерениях Мишеньки, не прочь была с ним породниться, ставя неизменным условием церковный брак.

Он ответил честной вдове, насколько мог горячо, что его любовь глубоко искренняя, и вот, наконец, долгожданная телеграмма:

*Выезжаем тринадцатого Галя и мама.*

Последние дни он колесом ходил: прибирал свою ободранную студенческую комнату, скреб и мыл посуду, на которую наросло грязи на вершок, купил новое одеяло, разослал приглашения товарищам.

В последний вечер ожидания он сидел на единственном крепком стуле, закинув ноги на подоконник, и, покуривая папи-

росу, благодумствовал в предвкушении семейного счастья, которое, казалось, было уже недалеко.

Робко проверещал звонок, Миша кинулся к двери...

Нагруженная дочерними приданым, вошла Настасья Васильевна, а за ней взвизгнула от лирического восторга... косоплечая, конопатая Галечка.

Обалдев на миг, он сообразил, что ту именинницу, чорт бы ее побрал, звали Алечкой, а вот эту приведенную клячу—Галечкой. Однако, по долгу гостеприимного хозяина, он поцеловал и матушку, и дочку, и поскорее убежал на кухню кипятить чайник.

На другой день Миша с утра ушел из дому и не приходил весь день, а вечером на квартиру пришел его товарищ—верзил Гришка Чеботарев—и мрачно сообщил ахнувшей вдове:

— Гражданин Михаил Панкратов арестован и высылается за границу... Напрасно вы его ждете, не дожидетесь....

На смерть перепуганная вдова, забрав свою дочку и дочкино приданое, той же ночью уехала обратно в свой глухой, забытый хутор.

Артем Веселый.



## ПРЕСНЯ

Из «1905-го года» Бориса Пастернака.

«Битый год я кружусь  
В вертене  
Исторических чисел.  
Как могла, я крепилась,  
Указанного держась,  
Что мне делать теперь,  
Когда все мои силы превысил  
Этот взрыв нетерпенья  
В никем не назначенный час?»  
Запатавши стволы  
И вальмай  
Корсаж из железа,  
Хороша, как смятенье,  
Как грива пожара рыка,  
Как улыбку, гоня  
С замельничавших губ  
Марсельезу,  
Так и бухнула штабу,  
От натиска счастья дрожа:  
«Час мой пробил.  
На зимнюю площадь любой из  
ограин!

Шей мне занавес, ночь!  
Города декорации, снег!  
Я не знаю сама, что со мной,  
Но пойдем, доиграем.  
Отпирайте казармы.  
Зовите к участию всех».  
Снятся городу:  
Все,  
Чем кипит,  
Исключая шпионства,  
Озаренная даль,  
Как на сыплющемся пеною,  
Из окрестностей Пресни  
Легит  
На Трехгорное солнце,  
И купается в просе  
И просится  
На полотно.  
Солнце смотрит в бинокль  
И прислушивается  
К орудьям,  
Круглый день на закате  
И круглые дни на виду.  
Прудовая заря  
Достигает  
До понаса людям,  
И не выше груди  
Баррикадные рамы во льду.  
Беззаботные толпы  
Снуют,  
Как бульварные крали.  
Сутки,  
Круглые сутки  
Работают  
Поршни гульбы.  
Хотят габели ради  
Глядеть пролетарского Граля,  
Шуяты жизнью,  
Смеются,  
Шатают и валят столбы.  
Вот отдельные сцены.  
Аквариум.

Митинг.  
О чем бы  
Ни оралось внутри.  
За сигарой сигару куря,  
В вестибюле дуреет  
Дружинник  
С фитильною бомбой.  
Трут во рту.  
Он сосет эту дрянь,  
Как запал фонаря.  
И в чаду, за стеклом  
Видит он:  
Тротуар обезродел.  
И еще видит он:  
Раскакавшись,  
На снежном кругу,  
Как с летящих ветвей,  
Со стремян  
И прямящихся седел,  
Спешась,  
Градом, как яблоки,  
Прыгают куртки драгун.  
На десятой сигаре,  
Тряхнув театральною дверью,  
Поблудневший курильщик  
Выходит  
На воздух,  
Во тьму.  
Хорошо б отдышаться!  
Удар.  
И—как лошади прерий—  
Табуном,  
Вразыпную—  
И сразу легчает ему.  
Шапки.  
Бабы платни.  
Бакенбарды и морды вогулок.  
Густо бредят костры,  
Точно их лихорадка трясет.  
Гулко ухаает в фидлерцев  
Пушкой  
Машков переулоч.  
Полтораста борцов  
Против стольких же тысяч и сот.  
Ночь на Чистых Прудах.  
Поседельх деревьев вершины.  
Пять часов запустенья.  
Бегающие люди в шестом.  
По Новинскому  
Бодро проходит дружина  
И снимает из маузеров  
Бляшников  
Пост за постом.  
После этого  
Город  
Пустеет дней на десять к ряду.  
Исчезает полиция.  
Снег неисслежен и цел.  
Кривизну мостовой  
Выпрямляет  
Пришел с баррикады.  
Вымирает ходок  
И редчает, как зубр, офицер.

Всюду груды вагонов,  
Завешанных коною тягой.  
Электрический ток  
Только в год  
Протинул провода.  
Но и этот поныне  
Судливый с далью сутяга  
Для борьбы  
Всю как есть  
Отдает свою сеть без суда.  
Десять дней как палит  
По Миусским коношным  
Бутырки.  
Здесь сжигались с трескотней,  
И в четверг,  
Как смолкает пальба  
Взоры всех  
Устремляются кверху,  
Как к куполу цирка:  
Небо в слухах,  
В траншеях сети,  
В трамвайных столбах.  
Их, что туч.  
Все черно.  
Говорят о конце обороны.  
Обыватель устал.  
Неминуемо будет правота.  
«Мин и Риман»  
Гремят  
На заре  
Перемеги перрона,  
И Семеновский полк  
Переводят на Врестскую ветвь.  
День тоски, день хлопот,  
Надо встать и на что-то решиться.  
Лезут глупости слуху.  
Надегым на саблю платком  
Еще машет поручик  
Дружинникам  
В Среднем Тишинском.  
К чорту!  
Прочь сентименты!  
Недаром торопит ревком.  
Значит, крышка?  
Шабам?  
Это после боев, караулов  
Ночью, служей трескучей,  
С вичестером, вичестером?..  
Перед ними бежал  
И подошвы лизал  
Переулоч.  
Рядом сад холодел,  
Шелестя ледяным серебром.  
Но пора и собираться.  
Смеркается.  
Крепнет осада.  
В обручах канонады  
Сараи, как кольца, горят.  
Снег неисслежен и цел.  
Как воронье гнездо  
Под деревья горящего сада  
Сносит крышу со склада,  
Кружась,  
Бесноватый снаряд.  
Понесло дураков!

Это надо ведь выдумать.  
В баню!  
Переждать бы смекнули.  
Добро, коли баня цела.  
Сунься за дверь—содом.  
Небо гонится с визгом кабаньим  
За слудревейшей землей.  
Топот, ад, голошенные котла.  
В свете зарева  
Наспех  
У Прохорова на кухне  
Двое бороды бреют.  
Но делу бритьем не помочь,  
Точно мыло под кистью  
Пожар напыляет  
И пухнет.  
Как от искры,  
Пылает  
От имени Минова ночь.  
Все забилось в подвалах.  
Крепиться нет сил.  
По заводам  
Темный ропот растет.  
Белый флаг набивают на жердь.  
Кто ж пойдет к кровопийце?  
Известно кому,—коноводам!  
Топот, взвизги кабаньих.  
На улице верная смерть.  
Ад дымит позади.  
Пуль не слышно.  
Лишь выюги порханье  
Бороздит тишину.  
Даже жутко без зарев и пуль.  
Но дымится шоссе,  
И из вихря—  
Казакі верхами.  
Стой.  
Расспросы и обыск,  
И вдали улетает натруль.  
Но герои дошли.  
Когда их подвели,  
Как спавс,  
К дулам пушек,  
Не вынес,  
Как спок, повалился один.  
Он очутился на миг,  
И услышал,  
Опыт засыная:  
«А не выйдут,  
С землемо сравняю»—  
Покрикнувал Мин.  
Было утро.  
Простор  
Открывался бежавшим героям.  
Пресня стлалась пластом,  
И, как смятый грозой березник,  
Роем бабьих платков  
Мыла  
Выступы конного строя  
И сдавала  
Смирителям  
Браунинги на простынях.

Борис Пастернак.